

ВЛАДИМИР БИБИХИН

<Поиск *своего* в «Алкивиаде» Платона>*

У Хайдеггера, в «Учение Платона об истине», начало такое: «Познания наук высказываются в предложениях и предлагаются человеку как осязаемые результаты для применения. „Учение“ мыслителя есть несказанное в его сказанном, на что человек выкладывается, в чем он, так растрчивая себя, находит свое применение»**. <...>

Мы поэтому должны избегать того ложного прочтения Платона, когда кажется, что Сократ, показав *незнание* человеком того, что человеком движет, требует заняться *познанием* и определением, что называется, *сути* вещей. Нет Сократ показывает, вернее заставляет сознаться, что человек не знает главного, не для того, чтобы заставить потом *узнать*: наоборот, чтобы заставить именно, собственно по-честному как раз *не знать*, учит приучает заставляет при-выкнуть к *незнанию* — к тому знающему незнанию, к науке незнания, *Docta ignorantia*, которое только тематизировал, не изобрел Николай Кузанский.

Разберем «Алкивиад»: как и везде у Платона, дело идет тут не о всяком знании, а о таком, из-за которого люди идут на крайность, на войну. Знает ли Алкивиад, двадцатилетний красавец аристократ, воспитанник Перикла и явно будущий лидер, много или мало из того, чему он учился на уроках музыки и борьбы, спор <об этом> не идет как раз потому, что из-за этого не надо ожидать войны, из-за методов, преподавания. Как богословие и аскетика делят вопросы на относящиеся к спасению, главные — и такие, по которым можно иметь мнения, и не будут тратиться на то что не прямо дело спасения или гибели, так «рассуждения» Платона все всегда не упражнения в логике или диалектике, они *всегда*

* Текст публикуется в авторской редакции с сохранением орфографии и пунктуации.

Отрывок из курса «Собственность. Философия *своего*», прочитанного В. Бибиным на философском факультете МГУ в 1993–1994 гг. Печатается с сокращениями. Звездочками помечены примечания публикатора. В угловых скобках стоят пояснения публикатора или же многоточие в опущенных по формальным соображениям местах.

** Хайдеггер М. Время и бытие (статьи и выступления). М.: Республика, 1993, с. 345. Курсивы В. Б.

лнут, лепятся к вещам, или к той вещи, вокруг которой самая жестокая, свирепая война. Где жизнь еще малая цена за то что добывается. Приобрести, добыть, *κτῆρασθαι* — так по инерции, и в этой инерции есть ирония (ирония над тем, что ах как хотелось бы Алкивиаду думать, что его *собственно* цели достигаются теми же приемами, как то, что им достигнуто, простым продолжением бодрого усилия) — так по инерции и иронически Сократ называет намерения, настоящие, Алкивиада. Сократ вот в чем уверен: Если бы кто тебе сказал из богов, Алкивиад, хочешь ли жить, имея что теперь имеешь, или сразу умереть, если тебе не дано приобрести большее? (105b)*. Сократ даже не спрашивает Алкивиада: ясно и так, он живет надеждой, *ἐλπίδι* (там же), только какой. Приобретение, на которое надеется Алкивиад, не количественное, потому что — ах в Алкивиаде уже есть Александр Македонский — Платон льнет к главному, к узлу древней и современной истории, к греческому взрыву, когда античная культура была сорвана, ее рост, территориальной экспансией; Платон *уже* угадывает, что произойдет, и уже называет, вокруг чего по-настоящему идет дело, что за собственность будет приобретаться. Приобретение *не* количественное, потому что когда Алкивиад приобретет всю Европу, ему *в той же мере* будет не хватать главного как и теперь, опять он не захочет жить *только* этим. Смешно сказать, что если к Европе прибавить Азию, то уже захочет жить, потому что в два раза приобретение будет больше. Азия для Алкивиада, как потом Азия будет для Александра, — это уже *всё*, полнота, о *полноте* речь, о том чтобы *заполнить*, наполнить своим именем и силой *всех* людей. *Все* люди здесь не количество, а род человеческий; дело идет о полноте человечества, осуществленной в Алкивиаде (105c), о его размахе до рода. Много очень много пространства и государств, обществ вмещенных этим именем и силой — тут только знак полноты.

Ах эти вещи, что неподдавленный, непорушенный индивид весь дрожит от порыва размахнуться до полноты рода, что меньшее для него хуже смерти, — Сократу-Платону так ясно, что он не допытывается, не дознаётся, так ли, а говорит сразу уверенно: только я. Только я, Сократ, только через меня ты эту силу получишь, силу, скажем сразу, родить в себе род; потому что в поле зрения во всем мире только один Сократ акушер *этих*, исключительных родов, родов рода. Только через Сократа, с *его* знанием (божественным знанием незнания), человек разродится, если разродится, родом. — Заносчивость Сократа так сказать? — Спрошу по-другому: заносчивость наша сейчас сказать, что только здесь через нас, через наш семинар будет добыта *собственно* собственность, схвачено *свое*? Я думаю не заносчивость, а простое грустное знание, что большинство пошло наивно топтать на завоевание Азии, не подозревая,

* В. Б. цитирует и пересказывает Платона в своем переводе. Ср.: Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986, с. 175, илл. (перевод С. Я. Шейнман-Топштейн).

не давая себе задуматься, что порыв к собственности означает, к своему, к собственно своему, к своему *собственному*. Никакой заносчивости: мимо нас собственность в своей собственной сути не осуществится, не исполнится, потому что все думают о собственности, никто не думает, что *собственно* собственность; если начнет думать где-то кто-то, слава Богу, нам станет легче, нам прибавится, а не отнимется.

«Никто кроме меня, с Богом, конечно» (105e) — из контекста видно с каким Богом: с «демонионом» Сократа, ничего не велящим, только запрещающим. Сократ переживает звездный час: демон *не* запретил ему говорить с Алкивиадом, значит каким-то чудом открылась, через Алкивиада, дверца, чтобы совершилось ни в какой Азии у персов невозможное, в человеческую историю в ее середине, в афинском полисе в ее власть, вошло бы спасительное знание незнания, амехания, невведение в действие механизмов, осторожная вдумчивая сдержанность, смиренное внимание. Ставка большая: под рукой Сократа такая возможность, поворота всей человеческой истории, через Алкивиада-Александра опомнившегося, не идущего топтать Азию в надежде механически охватить человечество. Игра идет очень крупная, головокружительно крупная, так что даже не верится, что вроде бы человек Платон может *так* крупно играть, и из-за этого неверия, из-за невероятности такого размаха мысли <...> мы Платона читать-то читаем, уже две с половиной тысячи лет, все равно конечно читаем, потому что размах такого *рода* захватывает так и так, но вот почему читаем, не знаем. Филологи думают, что потому, что красиво пишет, «произведение словесности», и разогретые начинают сами подражать, играть по-своему словом, как русский перевод «Алкивиада» полон ужимок и кокетливой игры пожилой игривой дамы, очень опытной переводчицы и редакторши, больших ошибок не делающей, тем более с опорой на то, что наработано за столетия на Западе комментаторами и переводчиками, но относящейся к слову Платона уже как к древнему древнему музею, куда кажется переводчице она наверное последняя и заглядывает, поэтому выносящейся оттуда уже в блеске своей собственной подпитанной Платоном изящной словесности. Слова «полнота», «наполнить» в ее переводе нет, но есть *похожее* слово, «заполонить», звучит почти так же, но имеет смысл «взять в плен», «очаровать» может быть, этимология «добыча», «ограбление», собственно обладание и удержание — *почти* то же по звучанию и игривее, думает филолог и радуется себе, но у Платона *ἐμπλήσεις* «наполнишь».

Полнота. Услышав это слово, мы *теперь*, после Жака Деррида, должны вроде бы спотыкнуться, насторожиться, сказать: вот она где гнездится, метафизика, логоцентризм, телеология, онтология, постулирование удобных универсалий, оперирование иллюзорными единствами мира и так далее. Я правда слышу этот уже не новый даже дискурс, зря меня упрекнули однажды на кафедральном обсуждении в отсталости, в нежелании почитать литературу, познакомиться с новым сло-

вом в философии за то, что я спросил о «совести», только спросил, как обстоит дело с совестью в «постмодерне». Я слышу этот новый или не очень новый критический дискурс, я переводил в Москве лекцию и выступления Жака Деррида, потом перевел целую его книгу*. И еще, даже независимо от него я сам давно уже говорил и писал, обращал внимание, что мира нет, целого нет, полноты нет, что определенный класс публицистов только в своей надутой слепоте размахивают этими словами, только видимость размаха. Я пожалуйста готов с радостью бездумное употребление таких слов запретить и даже как Деррида бить сразу по рукам за протаскивание «линейности», «целенаправленности», «глубинной сущности», «внутреннего содержания» и его «внешнего проявления» и — немедленно и беспощадно и бесповоротно запретить да и только. Но я не вижу у Платона логоцентрического жеста, я вижу только чистый — по крайней мере в этом диалоге «Алкивиада» — деконструктивистский жест, Сократ только спрашивает и только терпеливо, умно разбирает завалы в сознании Алкивиада. Это у *Алкивиада* оказывается жажда «наполнить [или заполнить, или восполнить]** своим именем и силой всех людей»; и овладение целым миром совсем недавно было тайным смыслом жизни целого государства, нашего. Я бы сказал так: не берите голыми руками такие вещи, как мир, целое, полнота, центр, глубина, слово, логос, они очень горячие. И совесть, и софия. Я, поверьте и проверьте, их никогда не беру не подумав сначала. Но как глупость или хуже, демагогия, на них опираться, так мне кажутся поросятками в соломенном доме те, кто обрадовался, что никаких этих метафизических вещей нет. Нечему радоваться. Они *могут* и так, и без того, чтобы им быть. А то, что их *нет*, делает их абсолютно неприступными. Небытия, господа, нет, *абсолютно* нет, ну *никак* нет — об этом нас предупредил раз навсегда Парменид. Делается жутко — настолько мы не в силах распорядиться тем, чего нет. Бояться волка и строить кирпичный дом поэтому мне позиция симпатичнее, чем скакать и повизгивать от догадки, что никакого волка не существует на свете. <...>

Человек по-настоящему загорается только тем, чего нет. История началась, развернулась и теперь через технику задействовала всё на земле, каждый камень, каждое существо, опять же через то, чего нет. Я произношу «то, чего нет» не в хитром смысле, пряча в кармане, что то, чего нет в плане *сущего*, есть зато в плане *бытия*, чтобы спасти ценности: они спасены от растаптывания тем, что их нет, но в каком-то тонком возвышенном смысле они, конечно, еще как есть. Нет я не хочу вести двойную бухгалтерию, и онтологическая разница между бытием и сущим пролегает не так, что в одном списке мы расположим, описывая, сущее,

* См.: Деррида Ж. Позиции (с приложением). М.: Академпроект, 2007.

** Здесь и далее в квадратных скобках слова В. Б. внутри цитат.

а в другом списке — бытие и его, скажем, «экстазы». Мы можем написать или начать список сущего так уверенно, не задумываясь куда отнести вещь к сущему или к бытию, именно потому, что о бытии мы можем так же уверенно сказать, что оно ничто, что его нет. Об одном смысле, в каком бытия, т. е. главного, т. е. того, вокруг чего вся человеческая история, нет, — у Платона в этом «Алкивиаде» будет сказано: невозможность показать <эти вещи>, научить им <...>. Второй, условно говоря, бытийный список защищен, или огражден, или выделен тем, что все в нем задевает человека вплоть до готовности к войне, зажигает его до жертвы жизнью. Можно перевернуть: то и только то, что подвигает человека на войну, что важно как война и мир, недоказуемо, непоказуемо, ненаучаемо, непреподаваемо, недедудируемо, неприучаемо, ненакопляемо в знании, в науке, в философии.

Это вещи, о которых только и идет дело, *всё* дело в человеческом мире, в истории, — и кто-нибудь сказал бы, что слово «вещи» здесь не на месте, но язык здесь поразительным образом с нами, и если этимология «вещь-эпос» не принимается, то можно взять немецкое слово «вещь», Ding, этимологически — «то, о чем идет дело», то, что вынесено на «тинг», на общее собрание, где обсуждается не всё подряд, а самое главное для общества, точно так же как Алкивиад рвется на собрание, которое будет решать не мелочи, а вопросы войны и мира. <...> И вот мы должны, читая с вами «Алкивиада», должны решить, что доказывает, вернее, что заставляет самого Алкивиада сказать Сократ: что Алкивиад *не знает*, чем он захвачен, и должен узнать научиться от Сократа или с помощью Сократа, чем именно, — т. е. прояснить понятие, или дать самому Алкивиаду разродиться понятием, — или другое, чем воспитание, и гораздо более рискованное, чем информирование, у него на уме, увидеть в лицо это захватывающее человека, увидеть что острота этого захватывающего нечеловеческая, что она как бездна, как ничто, как *нет*, *настоящая* бездна. Похожая на начало мира, которое одновременно и начало войны.

Алкивиад рвется быть только рядом с *этим* огнем, в нем только рисковать, гореть. Быстро перебрав дела, в которые Алкивиад мог бы и хотел бы ввязаться, Сократ и Алкивиад сразу и уверенно отбрасывают гимнастику, музыку, архитектуру, священнослужение (*μαντεῖον*, пророчество, предсказание), медицину, судостроение, ах все это такое основательное, медлительное, скучное, — и выходят на сцену фатальной, судьбоносной, исторической игры: Алкивиад выступит, теперь мы можем сказать, о *вещах*, о Dinge, на «*тинге*», где дело о самом главном, — выступит, когда полис будет совещаться, с уверенностью сразу говорит главное Алкивиад, «о войне и о мире и о других делах *полиса*» (107d). Алкивиад *политик*, политику он понимает еще крупнее, трезвее, проще, чем Клаузевиц: не просто война это продолжение политики другими средствами, а политика и есть уже в своем размахе война; политика о том, то, где и чем, в чем человек, общество загораются до *войны*, где дело идет не о *таке*, а о *до*, не о работе, а о поступке, не о мастерстве

и ремесле, а о хорошем и плохом, о добре и зле, правде и неправде; что дороже жизни, где врагу заранее грозит смерть, и где смерть лучше, чем уступить врагу. И тут же оказывается, что вещи, к которым рвется Алкивиад, политика, одновременно оказывается человеку самые интимные, близкие давно с незапамятных времен. Что политика специальность, профессия, что в нее не надо вмешиваться, говорят политики из ревности, как раз когда знают другое. Эту последнюю интимность политики чувствуют на самом деле все. Политика обжигает как удар в самое уязвимое место. Политика первое, во что человек посвящен.

Сократ: Можешь мне назвать такое время, когда ты не считал себя распознающим справедливость и несправедливость? Скажем, в прошлом году — искал и не считал себя различающим? Или считал? И правду отвечай, чтобы не впустую пошли наши разговоры.

Алкивиад. Ну считал что знаю.

С. А третьего года, четвертого, пятого — не так же?

А. Вроде так.

С. А до того ты ведь был ребенком, или как?

А. Да.

С. Тогда, однако, хорошо знаю, что ты считал себя знающим.

А. Откуда хорошо знаешь?

С. Я часто слышал, что ты в школе ребенком и в других местах, и когда играл в кегли или какую другую игру, вовсе не попадал в апорию относительно справедливого и несправедливого, но очень громко и смело говорил о ком попало из детей, что он плохой и неправильный и делает неправильно. Или неправду говорю?

А. А что же мне надо было делать, Сократ, когда со мной поступали несправедливо? (110b)

Алкивиад о том, как вести себя перед «плохим», еще готов говорить («а что же делать»), драться или начать с обличения, но что *ясно*, когда другой плохой скверный несправедливый злой, ему вне спора и обсуждения: ну ведь *видно* же.

А. Да вроде бы даже и знал?

С. В какое время выяснил? Ведь не тогда же, когда думал, что знаешь?

С. Видать, ты и ребенком считал себя знающим правду и неправду?

А. Нет конечно.

С. Когда же думал, что не знаешь? Посмотри: не найдешь такого времени. (110c)

Где правда и неправда, не надо *постепенно* выяснять: это знание не во времени приобретается, оно не от времени, его статус — платоновское *вдруг*. *Как-то так* человек с самого начала уже знает правду и неправду, добро и зло, сразу, всегда. Этот статус знания о главных вещах человеческой истории вполне соответствует их онтологическому статусу, о котором мы говорили выше. Этот онтологический статус гораздо более серьезный, чем думают «постмодернисты»: он вовсе не в «универсуме речи», не в библиотеке и не в музее, существует вовсе не в той мере, в какой об этих вещах поддерживается дискурс. *Даже* такой малой зацепки у них нет. Они неприступны *полностью*, с большей неприступностью, чем может быть неприступен любой текст. Библиотека в истории, для возникновения и хранения текста нужно время; а правда и неправда, добро и зло не требуют времени (110с).

Поэтому еще вокруг них, между прочим, и слепливается история; человек попадает в историю задетый вещами, для которых не надо времени; время разворачивается вокруг вещей, для которых не требуется отсчета на часах. Которые ни изобрести (придумать, отыскать), ни выучить невозможно (110d).

Еще раз: люди не пойдут на смерть из-за вещей, о которых есть знание, школа, где дело выяснения, ученого авторитета. «У тех, кто умер в Танагре афинян и спартанцев и беотийцев и потом в Коронее, среди которых скончался и твой отец Клиний, ни о чем другом расхождение, как о правде и неправде, причинило смерти и сражения» (112с).

Именно потому, что *нет* способа узнать, допытаться, разведать, где правда и неправда, добро и зло, <из-за> *заранее уже ясности* (ну как Алкивиаду, который говорит другому мальчику «плохой», доказать, что мальчик *не* плохой?), другого способа выяснения, кроме войны, — конца, предела, смерти, — для этих вещей нет. Причина войны — в невозможности кабинетным, научным, школьным, университетским способом и вообще никак, никаким человеческим способом выяснить, кто хороший и плохой, кто справедливый и несправедливый, кто добрый и злой, кто исчадие ада, проклятая нечисть, ироды, изверги и недочеловеки и кто светлые герои. Так?

Скажем, мы православные, т. е. мы имеем правую веру, и как это доказать, католику например, никак не докажешь, тогда надо его силой выставить из нашего храма, чтобы он его не дай бог не переменял в другую веру, он неправ.

Теперь собственно главный вопрос диалога, один из поворотов его главного вопроса. Кто знает текст «Алкивиада», ответит по Платону, кто не знает, не беда, Платон не вводит тут специальной теории, он говорит в пределах того, что *и так видно*. Война начинается потому, что все ясно, но только ничего не докажешь, и приходится применять силу?

Нет. Если бы было так, война была бы похожа на хирургическую операцию. Хирург не воюет с оперируемым, даже когда оперируемый в шоке и отбивается, тут не война, а именно *операция*. Название — воен-

ное — военных *операций* показывает как раз *хирургический* характер действия военных, но ведь военные никогда и не *начинают* войну, они держатся отстраненно от политики, принимают решения не они.

Война начинается потому, что все ясно и ничего не докажешь, или потому, что *нам кажется* все ясно, мы думаем что знаем, когда нам на самом деле ничего не известно, и для того чтобы *себя самих* привести к согласию с самими собой, люди навязывают свою волю другим?

Откуда мы всегда знаем, что правильно и неправильно, справедливо и несправедливо, с детства знаем, — нам неизвестно. Именно потому, что мы не спрашиваем, не разбираемся в себе, тайное незнание за нашим знанием взрывает нас изнутри, сдавленная, спрятанная война нас самих с самими собой превращается в воинственность.

Механика и особенности этого процесса не очень важны. Важно одно: мы *упустили* начало войны, столкновение нас самих с самими же собой, и упустили, что война, так сказать, сильнее нас, что бытие и ничто, добро и зло в войне раньше нас и шире нас, с большим размахом, чем мы, и не нам ее решать, не мы победим, не нам познать добро и зло, как сказано в Библии. Мы упустили, что с самого начала в самом своем существовании уже взвихрены войной, вспаханы войной («война отец всего», Гераклит), и приняли свою интимную включенность в войну за знание, с кем, как и когда надо воевать.

Или вернее, разбирает Платон, мы не знаем этого, но *колеблемся*, и нам не нравится наша нерешительность и мы ждем того, кто выведет из нерешительности <...>. Уверенный спросит себя, или его спросят, откуда у него уверенность; колеблющийся если спросит себя, почему он колеблется, будет несколько красивых вариантов, их можно было бы разобрать как шахматную задачу, но важно одно: для колебания *точно так же нет никаких оснований*, как и для знания, там, где знание в принципе невозможно.

Алкивиад, с детства полный знания добра и зла, заряжен порывом распределения как раз главных и исторически решающих характеристик: «Ты неправ, ты негоден, ты должен быть отменен, ты *должен уступить место другому*». Через несколько страниц диалога ему стыдно своего натиска, и он не возражает Сократу: «Безумное имеешь в уме предпринимать начинание, прекраснейший, *μακροῦν ἐπιχείρημα*, учить чему не знаешь, не заботясь об учении» (113с).

<...> Можно обозначить эту ситуацию как незнающее знание, от которого Сократ зовет к «знанию незнания», к науке незнания¹. Похоже, кроме того, что эта разница, страшно важная, в способе знания, еще недостаточна для описания всей полноты ситуации. Похоже, что самому Пла-

¹ Я боюсь, что этот контраст между «ничего на самом деле не знающим знанием» и «узнавшим себя, просветленным, мудрым, незнанием» — стерт в старом переводе названия главного трактата Николая Кузанского, *Docta ignorantia* якобы «Ученое незнание»: я предпочитаю, пишу «Наука незнания».

тону путь разбора знания, оказывающегося незнанием, и полужнания, прикрывающего знание незнанием, в котором настоящее знание, оказывается еще недостаточно простым, прямым, тем более не известно в точности, что такое знание, и чтобы было известно, знание вроде бы уже должно быть, а как его опознать, если пока неизвестно, что оно такое.

Ничего не знающее знание, узнавшее себя незнание — раздор между ними часть войны, которая началась как-то рано и идет как-то очень уже давно. Политики заняты разрубанием Гордиева узла, они согласились на войну и значит на стирание самого того существа, в котором идет война, но эта отчаянная готовность политиков как раз и означает, что узел уже затянут — в каждом. Война потому и выносятся на поле под Коронеем (где погиб отец Алкивиада), что *невыносима* человеку в нем самом. Нет мира человеку из-за раздора между знанием-незнанием — или из-за какого-то дурого. <...>

Вот сейчас, докопавшись, Платон распутает, разберет смешение, разведет правильное знание с неправильным — как бы не так, он легкого не обещает и ничего не обещает. Одно он делает: осаживает горячку, слепой порыв. Внимание присмирится и утихает, среди внезапно наступившего покоя *амеханши*, невозможности и бессмысленности спешного да и вообще любого делания (один из русских переводов этой вещи «амехания» — *недоумение*, но надо вспоминать и понимать, что значит старое русское «недоумение», и слово «амехания» как будто бы работает прямее, проще). Во время этой внезапной остановки (вспомним, что «школа», «схولة» этимологически «задержка, остановка, медление», и тут мы в который раз удивляясь языку, нашему собственному, вспоминаем, что русское *медление* этимологически связано с *мыслью*, а с греческим соответствием — родственным словом — «медления», *ἐπιπέλεια*, мы много раз встретимся в «Алкивиаде» и не будем знать, как его перевести, потому что ближайшее, почти тождественное понятие найдем только в латинском *studium*, которое тоже не переводится на русский язык, разве что «школа», как *studium generale* «общая школа» значит «университет»). <...> Ненавязчивые намеки языка, не столько указывающие, потому что научиться от них ничему нельзя, сколько приободряющие в нашем *собственном* искании, в *собственно* искании.

Сократовское *μανίβν*, сумасшествие ринуться в действие там, где мы не знаем и знать не можем, — это гераклитовская эпилепсия фр. 46 (фр. 114 по Марковичу, и Лебедев в своем переводе ставит после «эпилепсии» в скобках со знаком равенства (= сумасшествие): «Воображение» или «самоуверенность», и здесь у Гераклита то слово *οἶμα*, которым Алкивиад и Сократ стандартно называют уверенность Алкивиада в его знании добра-зла правды-неправды, можно сказать просто мнение-убеждение «Гераклит называл падучей (= сумасшествием) и говорил, что зрение лжет»*, видение в широком смысле, как мы говорим «я вижу»).

* См.: Фрагменты ранних греческих философов, с. 250.

Смирение, совесть за свою прежнюю неразумную скачку неведомо куда, неведомо зачем — запутан в незнании, оттого и рвешься, *ἄττεϊς* (118b), нелепая уверенная активность, размахивание руками, когда кто мы на самом деле? Идиоты, *ἰδιωτικῶς ἔχοντες*, потерянные, беспомощные, безродные. Ничего у нас бедных нет за душой: не только мы упустили свое незнание, ослепли, но и упустили время для работы, когда имели шанс что-то еще понять. Отец у Алкивиада погиб, но и в другом смысле и Алкивиад Сократ потерянные одинокие в безотцовстве: давно прервалась ниточка, ведущая их род от богов, и одно только имя божественного происхождения осталось. Переход от *незнания* к *безродности* не перескок, я только не буду сейчас говорить об этом подробно, незнание и заброшенность в безродности одно и то же. Цари, прямые потомки богов, непрерывно хранящие божественное знание (будем помнить про «божественное знание»), где-то, может быть в Персии, может быть в Лакедемонe, где к царской жене приставлены постоянные смотрители, чтобы никакой случайностью у царя не появилось сына незаконнорожденного, от неведомого, не божественного происхождения, родителя (ср. законнорожденное, знающее себя знание, и незаконнорожденное). Где-то, наверное, цари и сыны царей, а мы «сами идиоты и наши отцы», *αὐτοὶ τε ἰδιῶται καὶ οἱ πατέρες* (121a). Все, что мы можем выставить в виде родословной (не забываем связь между незнанием и безотцовством; вся тема Федорова здесь: когда отца нет, когда отец подвел, в двух смыслах, и не на высоте божественной, и не жив, все что есть *в нас*, теряет значение, наше знание становится нулевым)*, смешно царям царей и царственным потомкам царей, например в Персии и Лакедемонe.

Мы безродные, случайно приходим на свет, и хорошо что мы отрезвели, хоть заметили это. Царей от рождения принимают руки лучших наставников, их рождение историческое событие, ради них живет земля — а твое и наше рождение даже и соседи не замечают, до воспитания нашего и образования никому нет дела (122b). Брошенные дети, бедные, здесь в этой маленькой Греции. Боже мой, и хотим еще чего-то с кем-то соперничать, когда у нас ничего нет, ничего нет — кроме: вот этого опомнившегося смирения, проснувшегося трезвого внимания. Нас бросили; брошенные, мы ничем не владеем, кроме *ἐπιμέλεια* и *σοφία*, только они есть достойные упоминания у эллинов (123d). И еще: нет у нас никаких шансов с кем-то равняться, кроме как *ἐπιμελεία* и *τέχνη*.

Когда мы говорим: «школа», то понятие пусто без настроения смиренного и трезвого, от серьезности высокого, от печали торжественного чувства брошенности, оставленности, безотцовства: отцы были, божественные, могли быть, потому что у кого-то явно вроде бы остались — но их нет.

* См. об этом ст. В. Биbihина «Возвращение отцов» в Приложении к книге «Чтение философии». СПб.: Наука, 2009.

В этой брошенности, раз она узнана, есть решимость, даже яростная: не согласиться на подставных отцов, противостоять отвратительным претензиям захватчиков пустого, опустелого места. Так Гамлет после смерти отца и печален и растерян, но не потерпит одного: чтобы на пустующее место встали проходимцы, светлая печаль безотцовства не позволяет мириться с подделками. Ах незанятое место как многим тянущимся рукам хочется занять. И вот та дисциплина, техника, внимательное настойчивое усилие, которому *только и учит* Сократ, нужны не для возвращения отцов, их уже не вернуть, а для независимости, для свободы от персоов, от великого царя. Не так что: иди и я теперь научу тебя знанию; а так: умей теперь, оставшись один, жить в отрешенном смирении, незаносчивом, но и непрístupном. Выдержка, выносливость, вынесение ситуации — незнания, да, но *знающего* незнания. В *знающем* незнании отцы присутствуют полновесно так, как только они и могут присутствовать в мировую эпоху оставленности — присутствуют своим отсутствием; в отличие от слепоты, от забывчивости, которая «проглатывает» ситуацию безотцовства, знающее незнание — это постоянное присутствие отцов как именно отсутствующих. Отцы, конечно, вы помните из «Алкивиада» да и так знаете, на горизонте сливаются с богами.

Настроения, лежащие в основе, *Grundstimmungen*, по Хайдеггеру, по Розанову, ими создано все главное в истории, ими определяются эпохи. Светлая, смиренная бодрость оставленных, брошенных детей, начиная с афинских греков, пришельцев, народа одиноких, оставленных, изгнанных, полагающихся только на внимательное усилие, на школу и технику среди целого мира мощных, напирających сверхсил, претендентов на место отца, великих царей; так уверенно знающих, что надо им и другим — против чего только заведомая решимость *этому* напору не поддаваться, и тоже мощная, неограниченная сила внимания, в сущности — всегда берущего верх против массы.

При Александре, его экспансии, Эллада подорвалась, была побеждена не восточной империей, а *духам* восточной империи, т. е. изнутри (!)². Мы это видим, между прочим, по внезапному концу философии после по существу насильственной смерти Аристотеля. Философия возродилась уже только в Риме, под крылом Рима; и потом в Ренессансе, снова ранняя поэтическая философия, с настроения той же отчаянной бодрости, печального одиночества оставленных, поздних одиноких детей. Этим настроением внутри Европы создано «отечество науки», словесности, знания, вся новая Европа. <...>

Вы замечаете, что пейзаж, в котором мы говорим о «своем», очень заметно изменился. «Свое» как источник, к которому только подойти и питаться, куда-то делось, отрезано от нас, как отцы, между нами

² Здесь и далее восклицательным знаком в скобках отмечены места, помеченные восклицательным знаком на полях машинописного текста курса.

и «своим» прошел порог, смирения, отрешенности, школы, техники. Собственность, богатство — ее у нас нет, на ее месте *οὐδέν*, ничто (123b). Наше — только наше внимание, смирение, трезвость, усилие. Есть ли «свое», какое «свое», если от человека остается только школа и техника и больше ничего достойного упоминания?

Вопрос этот всего проще решить пока так: никаких шансов встретить свое где-то по сю сторону, не переходя порог смирения школы и техники (искусства), у нас нет. «Найти себя», «найтись» до перехода через этот суровый порог — который не кончается, потому что школа философии и искусства нельзя пройти, они уже на всю жизнь, — нам конечно не удастся. Сказать, что у каждого свое, и радоваться уже не придется. Или эта смиренная строгость, техника (настоящая, трудная как искусство) и есть у человека «свое»?

Мы видим, как наука становится призванием, аскезой на всю жизнь. Все возвращает нас к порогу школы и техники, во всяком случае свое, собственное — *не без* этой осторожной отрешенности.

* * *

Порыв Алкивиада (105c), «наполнить твоим именем и твоей силой всех, так сказать, людей», всех имеется в виду не сумму Европы плюс Азии плюс еще, а род человеческий <...> — порыв Алкивиада к *своему* делу разбился о вопросы Сократа, рассыпался, превратился в стыд и бодрое желание учиться; уверенное незнание, или как лучше сказать, бездумное знание, такое очень часто бывает, превратилось в знание незнания. Какой мерой измерить знание? Очень определенной: безотказной, всегда действующей: знанием своего незнания. Полнота знания — это знание своего полного, круглого незнания, вещь редкая, которая многим кажется даже недостижимой. Для Алкивиада она, такая полнота знания, недостижима, он полагается на помощь Сократа, *κοινῆ βουλή* (119b; 124b), совместным разумением. Сократ его вводит в школу, так я перевожу *ἐπι-μέλεια*, прилежание, направленное пристальное внимание, общая вещь всей науки и философии, *западной*, теперь придется мне все-таки сказать, потому что на востоке необходимость этого порога, смиренного терпеливого беспристрастного взглядывания, того, что Леонардо да Винчи, вполне этой традиции принадлежащий, называл *ostinato rigore*, упрямой или упорной строгостью; это был *весь* его метод, никаким другим методом он себя связывать не хотел потому, что знал, что там, где приложено *ostinato rigore*, вещь открывается как никогда раньше и как никому, и так, что никакого метода для нее все равно не хватит, — а где нет упорной строгости, там просто нет ничего, ни вещи, ни понимания, а метод становится ритуалом. <...> Школа — первое и строгое, отчуждающее вначале лицо не личного, а родового, каким мы уже догадывались и видели обернется *свое* (!). Родовое в нем будет обозначаться все яснее; вот оно уже обозначилось в неличной *школе*, о которую

споткнулся порыв Алкивиада; родовое, но пока еще не родное. Или уже родное? Есть люди, отдавшие себя науке, школе в сократовском смысле, когда вошли в ее вкус. Это аскеза. Как нож, школа, техника должны отрезать все личное, или пожалуйста, личностное (в смысле воображающего себя отдельным от общего) от настоящего своего, родового, потом и родного.

Абсолютная необходимость терпеливой скромности школы у Сократа связана, мы прошлый раз говорили, с настроением брошенности, оставленности. Связано с плохой привитостью школы на Востоке ожидание Востока, что он в привилегированных отношениях с богами, отцами. Это напрасная надежда, если думают, что так можно обойти или упростить школу. <...> Некоторые думают, что оставленность, брошенность, безотцовство, настроение бодрой внимательной настроенности, упорства и усилия (как брошенный в лесу, чтобы не пропасть, должен собраться) это черта Запада. Нет это черта мировой эпохи, которая длится уже долго. Думать, что восточные как-то особенно причастны к соборности или к космосу или к другим богатым вещам, — признак сиротства, дошедшего от отчаяния уже до бреда. Нет у восточных не больше, чем у Алкивиада, интимных отношений с божественными отцами.

Еще раз: суть настроения, на котором стоит сократовская школа, в том, что человек встретился с непоправимыми вещами. Если отец погиб, это поправить уже нельзя. Кажется, что можно поправить бедность, на самом деле это так же трудно, как брошенность. Школа не для того, чтобы восстановить непоправимое; она скорее вообще не «для того», а «оттого»: от опоминания, замечания своей ситуации, *ничего* не оставляющей, кроме внимания и усилия. Как нельзя поправить непоправимое, так и сократовская школа ничему не учит, так сказать, кроме как самой себе.

Вот оценка личной ситуации Алкивиада, Алкивиад гордый человек, поэтому его не утешает, насколько его личная ситуация типичная (118bc): «Беда, беда, Алкивиад, в каком состоянии ты состоишь, *οἶον πάθος πέπονθας!* Я его и назвать спотыкаюсь, ну да уж ладно, поскольку мы тут одни, придется сказать. Вот что: с невежеством (*ἀμαθία*) ты в супружестве, прекраснейший, с самым позорным, как слово твое тебя обличает и сам ты себя. Потому ты и метнулся в политику, прежде чем пройти школу. В состоянии же этом не ты один, но и многие (*οἱ πολλοί*) из практикующих (*πραττόντων*) дела полиса, кроме немногих и, наверное, твоего воспитателя Перикла». Тогда учишься у Перикла, проходи его школу и не будешь в браке с невежеством (обняться в супружестве с невежеством — не метафора в свете сказанного на прошлой паре о сплошной связи знания с рождением). Кто считает так?

Еще раз: если бы навести дисциплину добра против зла было делом хирургической или военной операции. Но нет: политика это *главные* вещи, касающиеся хорошего и плохого, вещей которых, мы сказали

грубо для ясности различения онтического списка от онтологического списка, *нет*; т. е. куда доступа знанию нет. О школе и невежестве говорится не так, что в вопросах полиса пройди школу и избавься от невежества. Войди в школу, постоянную, и узнай, что невежество в главном, в том, что знать только Богу, в добре и зле, — твое человеческое состояние, всегдашнее. *Совсем* рядом благополучные музыка, геометрия, коннозаводское дело, гимнастика, которые умеют выучивать своей техникой. Это и современный критерий научного знания, корректного, умение *повторить* эксперимент, умение *научить* приемам, методам. 118d: прекрасный признак любого научного знания, что его *знают*, когда способны и другого сделать знающим. Теперь — тот же критерий. Но так близко это благополучие, а недостижимо. На пороге между педагогической-филологией-судовождением и т. д., всем тем, чем Алкивиад *не* хочет и не будет заниматься, и политикой, войной-миром, хорошим-плохим, чем он *будет* заниматься, та прекрасная способность обучить обрывается, 118d: «Перикл <тот самый, кто, наверное, из тех немногих, кто не как толпа мечется в невежестве> кого-то мудрым сделал, от сыновей начиная? — Какое там, если оба сына Перикла оказались бестолковыми. — Но Клиния, твоего брата? — Что ты опять же о Клинии говоришь, бредовом человеке?»

<...> Да, господа, самое точное, предельное, последнее знание в том, о чем мы говорим, это знание нашего незнания, и его выверенная, опытная, мастерская формула — в последней фразе платоновского «Парменида», до сих пор я намеренно не вспоминал по поводу того, что мы читали в «Алкивиаде», других вещей Платона, теперь только отступлю ради одной последней фразы «Парменида», и то беря ее без попытки разобрать смысл, только как *формулу* умудренного, знающего себя незнания. В «Пармениде», вы помните, разбирается сначала предположение, что Единое, или Первоединое, мы могли бы сказать — мир, есть, потом — что его нет, и последняя фраза: «Единое, есть ли оно или его нет, и само и все другое ему и для самих себя и для друг друга, все и во всех отношениях, есть и не есть и является и не является, существует и не существует и явствует и не явствует»*.

Это *формула*, т. е. строгая, и это не *теория*, т. е. частный взгляд на вещи Платона, а достоверное знание, с достоверностью таблицы умножения, к которому не может быть ничего прибавлено ни в какие эпохи (хотя формулировка может варьироваться, один из вариантов формулировки мы разбирали сегодня в тезисах «небытия нет» и «все, что есть, не небытие»). Человеку позволено не знать таблицу умножения, но философское знание — общее, и то незнание вечных истин, которое в математике, может быть милым и простительным, а незнание своего незнания, как то невежество, с которым в обнимку в супружестве Алкивиад, сразу и безостановочно *порождает* («порождает» тут не метафора

* Ср.: Платон. Соч. в 3-х тт, т. 2. М.: Мысль, 1970, с. 477.

тоже) уродства. Об уродстве, это тоже не образ и не метафора, нам еще придется говорить.

Разбор полиса в «Алкивиаде» — казалось бы, такого сложного образования, требующего себе целой науки или целой армии наук, политологии, социологии, футурологии, — очень краткий и сводится к тому, что толку говорить о полисе, если нет филии и согласия. Мы констатируем: дважды, обоими словами Платон попадает в то, что русский язык говорит словом «мир» в смысле общества; этимологически, через раннюю историческую общность языков, греческое «филия» то же, что русское «мир» (!). Что это значит? Что и Платон, и русский язык думают об одном? И Платон, и русский язык по крайней мере указывают в одну сторону: общество не встраивается как популяция в систему мира, выбирая себе в мире нишу, приспособляясь к его условиям: человеческое общество в своем существовании — это попытка целого мира. Как такая попытка целого мира общество сразу, с самого начала несет на себе мир с его проблемой, загадкой и тайной: мира *нет* в том смысле, в каком муравейник есть или долина реки Нил есть; общество как мир, как филия и согласие взваливает на себя сразу задачу *совсем другого рода*, чем приспособление, встраивание, вообще устраивание, обустройство или перестройка. *Не об этом в обществе и у общества идет дело.*

Само наше слово *мир* в значении общества — русский язык здесь просто намного лучше для мысли, для философии, чем греческий, в *этом* пункте, — выносит нас в поле главных вопросов. Но тот же шаг сразу делает от себя и Платон, проблематичность согласия накатывается на него сразу, пустая и тупиковая картина общества как общественного договора, как соглашения не занимает его ни на минуту: какое, господа, соглашение между теми, в ком *согласие с самим собой*.

Лучше будет, если мы не станем спешить здесь в этом месте «Алкивиада», где, вокруг страницы 129, настоящий прорыв мысли, где Платон несет, как Парменида на его упряжке коней несет в его поэму, так что у самого Платона должна была кружиться голова и он не успевал подбирать встречающееся, когда важно было не терять этой внезапной быстроты, увидеть что можно, пока не кончится экстаз.

От согласия общества к согласию с самим собой Платон переходит вдруг или, вернее, для античной лаборатории здесь нет даже и никакого особенного перехода, город (полис) *повторяется* в каждом, как мы бы сказали — каждый это *мир*. И наоборот, в платоновском «Государстве» упорядочение государства — это одновременно упорядочение строя мысли. Упорядочение строя мысли внутри *круглой* человеческой головы в «Тимее» Платона — это упорядочение космоса. Когда православное трезвение называет «гражданствованием» (*πολιτεύω*, Вейсман*, «быть гражданином, управлять государством») поведение монаха, отшельника,

* Греческо-русский словарь.

то оно спокойно продолжает это античное сквозное видение, условно так его назову.

<...> Поймите меня правильно. Дело не в аналогиях между головой и космосом, головой и позвонком, психологией индивида и социологией или в других аналогиях: дело не в том, что все устроено варьированием парадигмы или модели. Наверное все устроено так; если мы будем понимать Гете, его науковедение, в этом смысле, мы получим просто еще одну схему природы или вселенского устройства, вместо другой схемы, диалектико-материалистической например. <...> То, что до всякой настройки человек *уже* устроен так, что видит на самом деле гораздо больше, чем сам себе сознается (чем позволяет его „сознание“) — вот что единственно важно, до всяких теорий об «анalogиях» или о «символах». <...> Мы гораздо больше видим сонным знающим угадыванием, чем себе доверяем знать; задача науки не проснуться к самоограничивающему сознанию от сна, а проснуться к сну, для сна. Сознанием то сквозное, так называемое «интуитивное» знание спутано.

* * *

Мы прочитали прошлый раз одну из формул знающего незнания, блестящую формулу конца «Парменида»: «Единое, есть ли оно или его нет, и само и все другое ему и для самих себя и друг для друга, все и во всех отношениях, есть и не есть и является и не является [или другой перевод, может быть лучше: существует и не существует и явствует и не явствует]». <...>

Школа Сократа — это школа школы, она вводит только в саму себя, учит незнанию, это школа или наука незнания, круглого, так сказать. Оно безусловно, оно удел человека, дальше этого незнания человек никуда не пойдет и не должен. Всё. Круг замкнулся. Ничего по-честному тут не сделаешь. О главном человек просто *не знает*. Война начинается у самого человека сначала с самим же собой от *раздражения* на безысходность этого незнания. (Имею в виду войну, а не операцию, разница как между дракой и операцией, <...> очень мало настоящих умеющих провести операцию, неизбежную, и мало умения обращаться к людям, умеющим провести операцию, как раз из-за слишком большой тяги ввязаться в последний решающий бой и победить зло. Эта человекобожеская претензия, к сожалению, пока до сих пор определяет политику в России и зачумляет ее. Первой мечтой политического деятеля и первой характеристикой, в прессе и в быту, остается «хороший», «борец против зла», «против коррупции», когда не определено даже издали, что такое коррупция. С самого начала это выдает алкивиадовскую, человекобожескую претензию на знание добра и зла.

Это было отступление о разнице между войной и операцией, между *справедливой* войной и операцией, в слове «справедливая» уже совершилось ввязывание, безысходное и безнадежное, в войну *без* школы,

без знания своего незнания: провал в состояние наивного, детского Алкивиада).

Школа Сократа, еще раз, не для того, чтобы вывести из состояния незнания, а для того, чтобы ввести, инициировать в ситуацию незнания главного, того, вокруг чего война и мир. Или по-другому: познакомиться с самым близким, с тем, что раньше умения или неумения, оптимизма и пессимизма, таланта и бесталанности — еще раз, возвращаясь к одной из тем прошлой пары, *наверное* очень интересно поговорить о таланте, одаренности, таланте к философии например, но гораздо важнее и раньше для оптимиста и пессимиста, для талантливой и бездарной вопрос вот этого класса: господя, есть в конце концов небытие или небытия нет? Он ведет к недоумению, к амехании, к остановке, к схоле (от *σχῆν, ἔχω*), к школе, к *studium*, к знанию незнания, и там человек *остается на всю жизнь*.

Это я сказал, там человек остается на всю жизнь, и сразу стал говорить о настоящей науке, о том, что я назвал видением, что угадывается смутно в симвонологии Флоренского, в аналогиях сущего.

Иммануил Кант не символист и не аналогист, когда он ставит рядом две вещи, размеренное от века движение светил на небе и нравственный закон внутри нас. Он цитирует тут Аристотеля, который в свою очередь цитирует поэта. Видение это, то же, как в «Тимее» Платона видение космоса и человеческой головы, не образ: математика, которой как раз увлечен Платон в «Тимее», между прочим, и физика, и в том числе современная, и действительная, наблюдаемая неотменимость законов, *запределность* законов (ведь скажем почему закон у нас срывается, не выполняется: потому что знают, что *все равно* его выполнить не удастся, по закону не проживешь; этим общепринятым беззаконием закон возвышается до небес), или вообще все *небесное* в человеке (опять не метафора) слишком явно уже показало свою силу, ход светил с их непостижимой строгостью нам не чужой, *открыт*; срез этой блестящей строгости космоса — в математике с ее точностью, которой, математической строгости и точности, с избытком хватает на отдание человеком отчета об открытом и еще открываемом в космосе. Мы, так сказать, *не хуже*, не обделены.

Строгий космический смысл олимпийских игр в Древней Греции: там на беговых дорожках, где надо было добежать до меты, обернуться вокруг нее и возвратиться туда, откуда начал, разыгрывалось космическое движение, и рассуждения, что таким спортивным ритуалом люди заволаживали, заколдовывали космос, чтобы скажем после зимнего солнцестояния солнце сдвинулось, снова пошло на север, — несущественное и неинтересное объяснение: что важно, разыгрывание обществом, *миром* по-русски (и здесь еще один скрытый языческий смысл слова *миф*, это разыгрывание миром мира) — движения вселенной, повторение вселенной, наука о вселенной, развернутая обществом в лаборатории общества же: или общество, развернувшее в себе

серьезной игрой космос, *не в порядке метафоры или театрального изображения*, а потому что пусть пока еще в сумасшедшей догадке, но мир, да, это и есть мир; да, человеческое общество как-то очень рано, раньше, чем оно себя знает, еще *во сне* уже приобщено ко *всему* (!). Современное вооружение, которое никого не радует, смешно думать, что это результат зла или стремления военно-промышленного комплекса к наживе: в накоплении сотни смертей на каждого одного из миллиардов людей на земле, в доведении до того, что руке одного человека достаточно дотянуться до ключа, один раз, чтобы запустить ядерный пожар, чтобы разыграть космический огонь (можете тут вспомнить о гераклитовском огне или о последнем огне германского и скандинавского эпоса), поставить в лаборатории, раскинувшейся на всю планету, еще и этот эксперимент, куда человечество бросит теперь уже просто все само себя, в огонь — откуда это, куда это? Я не знаю. Я знаю только, что здесь громадный случай того видения, того знания, другие примеры которого я пытался привести: *сквозного*, говорил я; когда человечество наяву ли, во сне ли *делает жесты космоса и законов космоса и творца космоса* (!).

Это значит как же сказать, бога. Только что я говорил о единственном высшем знании человека, знании незнания. Теперь — я говорю о знании, которое включено в софию космоса, принадлежит софии космоса *и самой этой своей принадлежностью*, творительный орудия, как я говорил раньше, делая из самого себя лабораторию, — говорит т. е. так, что космос, целый мир им, человечеством, говорит.

Этот переход, внезапный, от знания незнания, удела человека, к божественному знанию Всего впервые в западной мысли отчетливо намечен в поэме Парменида. Я говорю — *отчетливо* намечен, в самом деле с такой отчетливостью, что внезапный переход от первой части поэмы, где говорится о не возникшем, неприступном, не прибавляющемся, не уменьшающемся бытии, ко второй части, науке об устройстве всего мира, кажется необъяснимым, и не иронизирует ли тут Парменид, в своей космологии, после науки незнания первой части поэмы, над человеческим знанием, доксой — одно из принятых объяснений. Вторая часть поэмы Парменида совершенно необходима. Школа незнания очищает, подводит, подталкивает, как раз когда пройдена хорошо, к прорыву в божественное знание, т. е. уже не человеческое, размахивающееся на весь мир.

<...> После поступления человека Алкивиада в школу Сократа, в школу знающего незнания они вместе, в их новом согласии, ведут диалог так вдохновенно быстро, их мысль или мысль Сократа, вдохновляемая близостью любимого ученика, набирает такой размах, что пейзаж сменяется почти мгновенно, ближе к 129-й странице. Об обществе обоим неинтересно говорить иначе как о *мифе*, т. е. *филии* и *согласии*, но для филии и согласия в мире-обществе надо сначала, чтобы каждый не был или хотя бы кто-то не был в войне с собой. Как общество Алкивиаду

и Сократу скучно, муторно устраивать путем улаживания, компромисса, уравнивания интересов (якобы в этом все дело политика, думают современные политики, т. е. они стоят опять же все на старом «разделяй и властвуй», т. е. властвуй на дрожжах, на почве разделенности), так и думать о согласии каждого с самим собой через какое-нибудь мировоззрение, или особое воспитание, или дисциплину скажем внутреннюю или другие формы самогипноза, им тоскливо и слишком им ясно, что это тупик. Согласие каждого с самим собой возможно только так, что каждый *вопьется* в «свое», будет занят захвачен поглощен растворен именно *собственно своим*, и *род* этого влечения к *своему* назван в 126е: соединиться как отец с сыном, как мать с ребенком, как брат с братом, как *муж с женой*. Не ставится вопрос, а есть ли вообще у человека, каждого, «свое». Ах господа, не ставится вот у Платона и вообще в важной, великой мысли, всякой, этот вопрос, что такое *свое*, да есть ли оно вообще, а может быть его и нету вовсе. *Эти и подобные вопросы в настоящей мысли просто не стоят*, господа, и в этом величие настоящей мысли. Не обсуждается вопрос, жениться или не жениться, родить или не родить. С близким человеком или с Господом, но *безусловно супружество*, деток человеческих или дитя другое, непостижимое, но ты рожашь. Слава Богу, что никогда ни в какой настоящей мысли <не появится> бледное образование в виде индивидуальной личности, которая сама когда-то будет решать, в какие субъект-субъектные или субъект-объектные отношения вступать, или вообще может быть не вступать, или как-то еще собой распорядиться — ах какое счастье, что настоящая философия от своих подделок отличается больше, чем от ремесла сборщика мусора.

Не вопрос для Сократа, есть ли «свое» и что такое «свое», свое каждый сам знает, — забота его в другом, отличить настоящее свое, собственно свое от своего принадлежности, чем мы на этом курсе «Собственность» много занимались. 127с: тем важнее отличить свое принадлежности, свое *собственности* от *собственно* своего, что *обычно* человек мимо собственно своего промахивается, влипает в свое собственности, понятой тоже не как *собственно* собственность, а юридически. Школа путь к родному. Платон вводит «свое» и «что-то из своего», т. е. вещи к своему как-то отнесенные — как ботинок отнесен к ноге, кольцо к пальцу (о единстве Средиземноморья: эти примеры ботинка и кольца, как часто у философов, кажутся случайными, и комментарием к этим примерам лучшим был бы Исая, гл. 3 ст. 16 и до конца этой главы, где *не тем* заняты дочери Сиона, не *своим* не Господним, «надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и гремят цепочками на ногах», и «отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, серьги и ожерелья и опашала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала». Они сейчас гордятся этим *своим*, но не это *свое*; это их *соб-*

ственность, но не *собственное*. Вопрос что такое «свое» правда ставится, но он тут же проваливается в бездну, *узнай* самого себя. Эта надпись — на храме, божеству. Она *божественная*. Древний безымянный схолиаст, скорее всего византийский может быть, чувствует это касание божественного в этом месте, он приводит двустигшие:

Узнай себя в словах — невеликое дело³,
На деле же это знает один только бог. (Схолия к 129а)

Этого Сократ не говорит, но знает, он говорит в своей манере, «может быть это и не легко», Алкивиад предполагает — может быть сверхтрудно, два шутника таких, что это «претрудно, труднее всего», *παυχάλερον* 129а. Схолиаст подсказывает: да вообще не человеческое дело, Бога.

Бог занят, нам говорят, *самопознанием*, самосозерцанием, он довлеет себе, он полон в себе и наслаждается, когда глядит в самого себя. Говорят, что это даже и у Аристотеля так прямо написано, Бог созерцает сам себя, как в зеркале, такую прекрасную данность. В свете того, вокруг чего мы топчемся уже сколько месяцев, почти год, мы, пожалуй, просто не будем больше верить таким сообщениям из истории философии. И в свете этой 128–129-й страницы «Алкивиада», где сближаются «свое» и «познай себя». Смысл этого божественного самосозерцания, наверное, в том, что Бог знает и один по-настоящему знает *свое*. А человек, получается, и не знает собственно *свое* и никогда в полноте не узнает? Или в *своем*, в *родном* человек — Бог, они одно? Как вы тут решите? *Свое*, *родное* — одно человека и Бога?

* * *

Сократ как будто обжигается, когда от смиренного «не знаю; знаю, что не знаю», переходит к попытке знания, как в 129е: «Что же такое человек». Чтобы знать это, надо «узнать себя самого». Но это трудно. Хорошо бы тогда узнать, что такое «самое само». Но и это наверное очень трудно; 130d: достаточно нам рассмотреть каждую самость. Но и «самость» тоже не разбирается; диалог заканчивается темой «души», *ψυχή*. Обжигается потому, что и там, и там, и там, и в «самом себе», и в «самом самом», и просто в самом, и в душе — просвечивает вот это другое: Бог. Знание незнания было школой покинутых, одиноких, оторванных от Бога, трезвых, смиренных. Из той школы нищих, школы незнания почему надо было выходить, почему недостаточно было сказать, что мы *не знаем* кто такие мы?

Разговор идет о полисе, о мире (согласии), о невозможности мира без согласия каждого с самим собой, отсюда вопрос, кто же мы *сами*. Странные незнакомцы самим себе; сказать, что у нас нет и шансов с собой познакомиться — тогда собственно прощай полис, неясно о чем

³ Т. е. и фраза короткая и, в другом смысле, словами разгрести эту проблему.

вообще речь, диалог отброшен к самому началу, где Алкивиад готов идти орудовать вслепую, просто давить других блеском своего происхождения, рода, природных данных, энергии. Т. е. воздержание незнания вещь хорошая, красивая, но надо же и какой-то практикой заниматься. Какое-то знание, кроме знания незнания, надо как-то иметь, хочешь не хочешь, ведь жить-то надо?

Похоже, что к *ведущему*, хозяйственному знанию Сократ приходит другим, не этим утилитарным, а красивым путем, только он трудный. «Ради бога, будь сейчас внимательным», говорит вдруг Сократ. Он новыми глазами посмотрел на себя, на Алкивиада — и не увидел ни себя, ни Алкивиада, словно оба надели вдруг шапки невидимки. «Ты сейчас с кем разговариваешь?» — спрашивает Сократ, и дальше идет головокружительная часть диалога, краткая, которую я не буду читать, потому что лучше будет, если каждый обратится к своему опыту, у каждого разному, исчезновения человека. Его тело, его жесты, его слова, произносимые, становятся инструментами, которые вводит в действие, задействует кто? Его имя — «пользующийся телом», 129е, под «телом», не забудем, надо понимать и слово, и поступок, и жест. Я ошибся: не «пользующийся», а в среднем роде, совсем отчужденно: *τὸ τῷ σῶματι χρῶμενον*. Это техничнее и строже, чем древнеиндийское имя для владельца тела, *dehin* или *dehavan*, от *deha*, м. ср., тело. Как *deha* в древнеиндийском значит еще личность (то же в греческом *σῶμα*), так *dehin*, носитель тела, хозяин тела, имеет значение «душа». Конечно, и Платон, назвав свое отчуждающее «то, что пользуется телом», сейчас же скажет «душа» (130а). Но будет грустно, если мы успокоимся и скажем: а, речь о душе и теле, известное дело. Человек состоит из души и тела. Мы в середине спокойного метафизического дискурса. В учебник истории философии мы имеем право вписать: согласно Платону, человек состоит из души и тела. Кто читал «Алкивиада»?

Нет, человек по Платону не состоит из души и тела. Когда человек на 129-й странице куда-то девается, видны только орудия, которыми он «пользуется», то тело не становится для Платона крючком, за который человека можно как-то вернуть обратно. Человек уже не возвращается, *тело не человек*. Вместо того, чтобы успокоенно узнавать в тексте Платона знакомое, идеализм допустим, и классифицировать его по рубрикам, лучше потратить эти силы на фразу в 130с, которой одной достаточно, чтобы догадаться, что Платона-то мы по настоящему не очень хорошо и знаем, или совсем не знаем. «Поскольку же человек не есть ни тело, ни то и другое [соединение тела и души], остается, похоже, что или оно [!] ничто, или, если что-то, то человек есть не что иное как душа». Переводчик тут не верит своим глазам и формально не делая ошибки, ставит местоимение в аккузативе, где оно совпадает у нас с мужским родом, и строит фразу так, что «его» явно и однозначно относится к человеку: «Остается, думаю я, либо считать его ничем, либо, если он все же является чем-то, заключить, что человек — это душа». Ком-

ментаторы изданий, сохраняющих средний род («*оно*», человек), выходят из положения тем, что предполагают, что Платон имеет в виду под «*оно*» «человеческое бытие». Нет необходимости ничего придумывать. Ведь полстраницей раньше, 129е, средний род уже был, «пользующееся телом». Средний род обозначает отчуждающую невидимость неуловимого существа, который делает все это, движет телом, говорит. Это существо проваливается в *ничто*, первой та гипотеза, что человек это *ничто*, стоит вовсе не случайно; предполагать, как это делают комментаторы, что «ничто» вставлено как доказательство от противного — в смысле: не может ведь быть, чтобы человек был *ничто*! тогда остается, что он душа, — тоже нет никакой необходимости. Платон спокойно, мужественно вглядывается в проваливание человека, да, человек проваливается в никуда, в ничто, он не просто неуловим, его *нет*.

Во все это время «диалога», время обретения или можно сказать при-обретения себя как *самого* своего приобретения *собственно* себя, по-настоящему захватывающего приобретения, все другие «собственности» (как теперь сказали бы, «формы собственности»), начиная с тела, потом частей тела, потом того, чем обслуживается тело, потом того, что помогает обслуживанию тела, включая деньги, домашнее хозяйство 133е, общественное хозяйство 134а, богатства и разбогатения единоличного и общественного 134а, и рабства, принадлежности одного человека другому 135bc, я не все перечислил, — всякая другая собственность в поле зрения Сократа, но только в поле зрения, — и уже не Алкивиада, у которого хватает внимания только на погоню за главным, за ключом ко всякой собственности, за *собой*. Во все время «диалога» — «диалог» уже тут можно брать в кавычки, когда от быстроты этой погони за *собой своим* тело и личность, если понимать личность как говорящее разумное тело, рассыпались. И личность тоже рассыпалась. <...> В древнеиндийском *dēha*, тело, значит и личность, скажем юридическое лицо. То же самое в греческом *σώματα ἐλεύθερα*, букв. «свободные тела», это в общем-то, с поправками, то, что теперь свободные личности, свободные юридические личности. Если меня в этот момент радости от какой-то надежной определенности, вот оно тело, окрикнул, выругают, запретят говорить о личности в античности, я, конечно, съезжусь от страха и перестану говорить о личности в античности, но зато «личность» у меня из рук ускользнет, снова превратится в мыслительный конструкт, у одного автора один, у другого другой, и я перестану тогда говорить о личности вообще, тем более никакой нужды нет: личности нет ни в Библии, ни в главной мировой философии. И все равно, тайком или явно, все говорящие о личности опираются на тело, возвращаются к телу, т. е. *настолько* прочно и надежно сколочено это древнее укоренение личности в теле, что работает, продолжает работать, так сказать, даже когда опровергнуто. Эта возня с личностью становится в конце концов не очень интересной. Совсем другое дело, когда начинается плотный философский разговор, как в «Алки-

виаде», и открытое зрение, не повязанное (как это говорится) целиком своими собственными конструкциями, проваливается в ту всепускающую пустоту, которая в прозрении на 129b: ради Бога, Алкивиад, посмотри, посмотри внимательно: ты с кем сейчас говоришь? *Не видно* «то, что пользуется» телом, словом, этим говорением, этим диалогом. Где *оно*? Тут становится действительно интересно так, что дух захватывает. И как всегда в таких случаях нас подстерегает паника, пароксизм, как во сне проваливаешься в пропасть и надо немедленно схватиться за что-нибудь. Первая реакция, конечно, проснуться: нет, нет! этого ничего нет на самом деле, это только приснилось! Не может быть, чтобы на месте человека раскрылось *ничто*! Комментатор за работой: в этом месте, 130c, один заботливый старый издатель даже брал в скобки слова «или он (человек) ничто» как полную нелепицу — откуда же берется ничто, если только что человек был «тело и душа», допустим тело отпадает, но хоть душа-то остается, *откуда* ничто? — но самое частое решение, как и в русском переводе, это то, о котором я сказал: от противного, именно от нелепицы считать человека ничем, русский переводчик добавляет слово «считать», которого у Платона нет, у Платона буквально: «остается или что оно [а не он!] ничто...» Русский переводчик, да и любой переводчик, будет по привычке смотреть на человека, как мы вообще привыкли смотреть на человека, вот он куда он денется, такая данность, вопрос только в том, кем его *считать*, телом или душой, мы благополучно приземлились в «метафизическую проблематику», давайте теперь поговорим, что такое человек, тело или душа, — но Платон своим жутким «оно», «то, что пользуется телом», проходит как в стратосфере над перехватчиками и будет еще сотни лет дожидаться себе понимания. Понять его трудно, потому что все очень просто: не о дефинициях и концепциях речь, а случилось так, что на одном выраже этого захватывающего и захваченного диалога человек *выпал*, провалился в бездну, в ничто. *Только* один ум в XX в. рискнул сказать, *видя* то же, что видел Платон, что существо человека выдвинуто в ничто, что человек это заместитель *ничто*, — и сразу же на него набросились массой и заклеили как нигилиста или хуже.

Господа, философия не о понятиях и не о том, кто что «считает», словом *считает* перевод этого места 130c можно считать испорченным, — философия о видении, о вещах. Работа «Алкивиада», диалога, набирает размах, набирает высоту и человек словно вываливается из корзины, человека не оказывается, он проваливается в ничто. Вынуть его оттуда сам же человек уже не может, попробуйте сами думать о том, *кто* же или *что* же пользуется *вот сейчас* нашими телами и нашей речью. Попробуйте поймать, уловить, заметить. Улавливающие, вы, будете пользоваться при этом понятиями, приемами, например *интенция*: в человеке всегда остается только то, что интенция, напряжение, ведущее. Но и интенция — это тоже слово, или в лучшем случае жест, которым *тоже* пользуется то, что пользуется. Я вам предлагаю это упражнение.

Кто что уловил? И по моему опыту ответ тот, который у Платона. Т.е. или ничто — я сам в самом себе ускользаю опасно, до полной пустоты, рефлексия улавливает не случайно дурную бесконечность «я думаю о я думаю о я думаю о я», — или «душа», и тогда я знаю в себе *свое*. Остается *свое*, захваченность.

Душа только не «психика». <...> Я не знаю что такое психика, мне не удастся понять определения психики. Иногда они возвращают к аристотелевскому определению: душа есть некоторым образом все. Это мир, сказали бы мы, и я так говорил: человек это мир. Мир это много. То было ничего, а то вдруг мир. Когда Платон говорит, что человек это душа, собственно «веяние», то его мысль та же, что Аристотелевская: душа это проход в божество. Вот почему Платон и мечется, и обжигается. После человеческого, знания незнания, смирения, школы, взгляд в *собственно* человека, в *себя*, *самого* человека открывает окошко куда-то очень далеко. В Бога, но Бог мы с прошлой пары не знаем что такое, мы его знаем через свое, собственное, но не наоборот. Лучше будет говорить: свое, собственное — самое само — *не* другое, чем божественное.

Нет надобности, и не получится закрепиться в моменте исчезновения человека, и у Сократа этот момент, прозрения, длится недолго. Человек исчезает, как сменяется кадр, чтобы пройдя через это исчезновение (ах не у Мишеля Фуко и не в структурализме человек исчезает, а в «Алкивиаде» 129b) — не то что человек исчез а потом вырисовался снова, а как исчез он так и исчез, ушел в смирение земли, но *именно* потому что исчез ушел в смирение земли, в ничто, в пустоту, он *этой своей пустотой* впустил — что? господу, страшно сказать. *Если бы* мы знали, что такое Бог, можно было бы сказать, что пустотой своего ничто человек впустил Бога.

Скажем осторожнее: в ситуации одинокого, обделенного, нищего, без собственности, без богов, смертного, оставленного самому себе, только своей настойчивой строгости и своей технике, человек как оставался так и остался, тут ему и место, туда ему и дорога. Но человек каким-то образом остается и после этого превращения в землю, после расставания с собой — после этой, в терминологии позднего платонизма, «философской смерти». Или даже сказать лучше: только после расставания с собой, только после превращения себя в смиренную землю человек только и становится *собой*, приходит к *своему*. Только «собой», «само», «свое» меняются. Юридическими, во всяком случае, собственническими они стать снова уже не могут.

<...> Из того, во что человек введен «душой», опять переведем: веянием, дыханием, когда он простое одно с богом и с миром, в «Алкивиаде» ожидают устройства человека и социума. Человек и социум могут быть устроены и будут устроены, но *не* строительством! А «душой».

Боюсь, что разговор о «добродетели» по-русски вводит в заблуждение. Грубо говоря, начинает казаться, что где-то известно, как делать

добро. Нет не известно, добра мы не знаем и не умеем его отличить от зла. Но мы делаем добро и зло? Сколько угодно. Раннее участие души в божестве и мире у Платона — «добротность» и «софия» делают не «добро», а делают «добротно», «умело», и в блеске божества. В мысли, в поэзии, в мечте, во сне «душа» — там, где мир начинается, снова и снова, мир, в котором зло *еще не успело*. Мир исправить нельзя, но его можно сотворить заново.

<...> Спор между религиями, в религиозных войнах идет по-настоящему не о «правильности веры», «правоте учения», а о *самом же Боге*, за божественность человека, за обожение. Как в школе ученого незнания допустимы только технические операции, так в близости к Богу и за близость к Богу может быть только война — жестокая, за *свое*. Война души, отчаянная, которую животные не ведут, — спасительная. Из-за способности к ней к человеку все тянется. Все рушится, обваливается. Зло это порок, недостаток добра? Может быть зла нет? Не знаю. Знаю, что однажды поведенный божественным знанием, человек вдруг и сразу оказывается не на высоте, «не тянет». Прорыв через обломки, снова к Богу — как Иов через свои струпья, нищету, покинутость продолжая хотеть только одного, быть близко к Богу. Что Бог даст, то он даст, вдруг, и нам тоже. Но смешно надеяться, что мы как-то угадаем в Бога своим усилием. Не зря на пути к своему встала строгая школа. Школа отдала наше всеобщему, роду; родное подчинило нас миру. Какая именно наша связь с миром, как все существует во всем, это еще вопрос, но что мы, и каждый и все, *завязаны* миром, его громадностью, его строгостью, что дышим только им, что мы только через Бога и в Боге — это похоже ясно.

Свое нам всё. Наша собственность Бог, наше родное мир. Наша война за то, чтобы мир и бог не были нам подменены, подсунуты. Очень много структур, к которым можно подключиться, в которые вписаться. Война идет за *разрыв* этих структур там, где они выпадают из *собственно* своего в свою собственность.

У меня, у каждого меня, нет ни времени ни сил на «творчество», на создание мира или на что-то еще такое прекрасное и красивое. И все равно: *как-то*, я не знаю точно как, я вовлечен, втянут в целый мир, так, что через меня идет *все*. Я место выбора и решения, которые не требуют времени, не во времени. Поэтому не так, что я *ежесекундно* должен принимать решение. Я принимаю решение *в настоящем*, относительно *настоящего*. Настоящее может быть в прошлом, оно, возможно, в будущем, но там и здесь оно — настоящее, не должно дожидаться времени, наоборот, время всегда дожидается настоящего.

Я принимаю решение в настоящем, оно касается настоящего. Настоящему противоположно не прошлое, не будущее, не вообще длительность, а *ненастоящее*. И не в смысле игры, «не настоящего»: игра настоящая. Небытие — тоже настоящее. Я имею дело с бытием и небытием как настоящими. <...>

Вспомним тогда ситуацию Алкивиада. Он хочет ринуться на совет, где решают войну и мир, когда не знает простейшего о справедливости-несправедливости. Поди-ка дорогой в школу, говорит ему Сократ. Но у нас нет времени, чтобы ждать, когда настоящее определится. По-честному у нас такого времени, такой возможности нет, она всегда уже ушла. На самом деле Алкивиад не *будет* еще когда-то вступать или не вступать в войну, в войне он уже сейчас горит, как Сократ, — они *едва успевают что-то выбросить*, как бутылку с запиской, нам о той войне.

Война идет, в тайне, в сердце — вот почему тень эсотики всегда будет нависать над Платоном.

Ноябрь–декабрь 1993 г.